

•ЕВГЕНИЙ КУШЕВ•



отрывком
карандаша

COO

ЕВГЕНИЙ КУШЕВ

ОГРЫЗКОМ КАРАНДАША

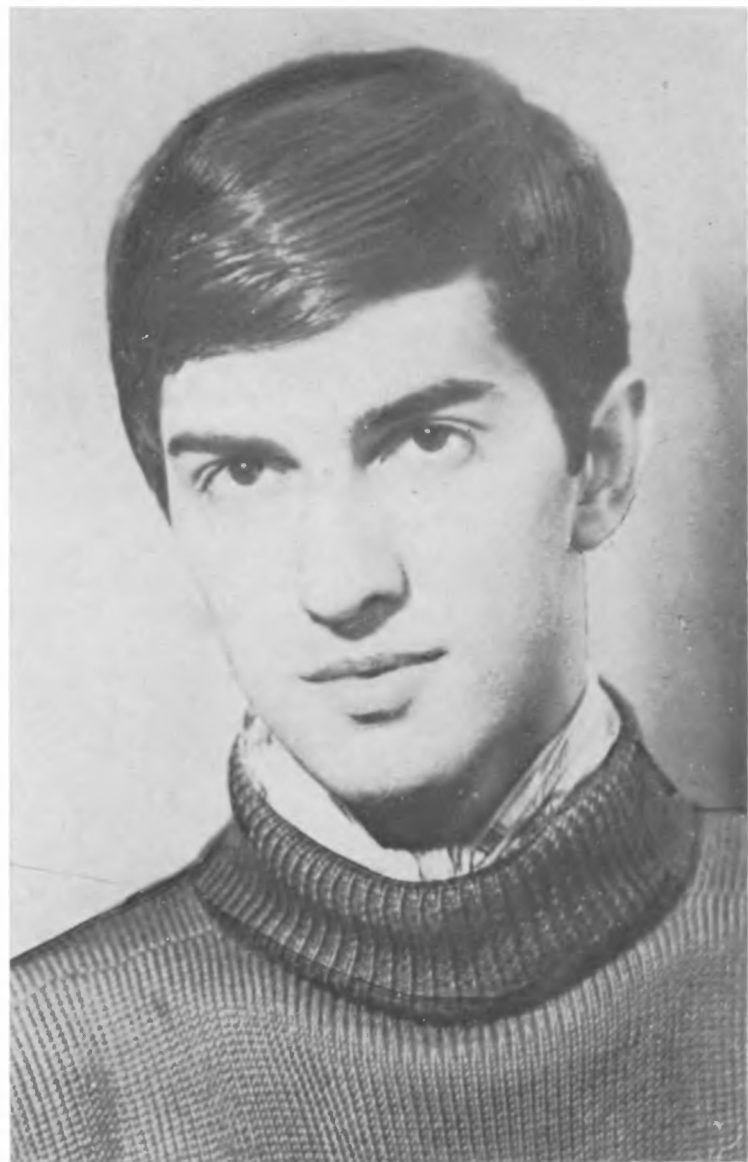
Стихи и проза

ПОСЕВ

Обложка работы художника Н. Николенко

ОГРЫЗКОМ КАРАНДАША

Первая книга стихов



Автор этих стихов — молодой московский поэт. Не член Союза писателей, а действительно поэт. Сейчас ему только что исполнился 21 год. Примечательна судьба этого юноши: внук старого чекиста, сын советского актера, он с 14 лет начинает искать правду. В 18 лет он участвует в издании «Тетрадей социалистической демократии», обошедших всю Москву. Годом позже он издает машинописный журнал «Русское слово» и пытается создать Клуб Рылеева. В двадцать лет он, совместно с Буковским и Делоне, участвует в демонстрации в защиту арестованных товарищей и восемь месяцев после этого находится в тюрьме.

И среди этих дат — еще одна, сияющая дата: 15 мая 1966 года он принимает крещение, становится членом Православной Христианской Церкви.

Не мне, его крестному отцу, характеризовать его творчество: для отца всегда сын всех милее. Поэтому сегодня, во вторую годовщину его крещения, мне остается лишь осенить его крестным знаменем и пожелать успеха его стихам.

А. Краснов (Левитин)

Москва, 15 мая 1968 года

ПО СОВЕСТИ

Всем скажу, — работал я без правил,
И нигде не ставил мягкий знак.
Я хочу, чтоб кто-нибудь поправил
Глину, что задумана в руках.

Я не жду похвал и славословий.
Тишина — мне хватит одного.
Эти строки — капли алой крови
Из души и сердца моего.

Посмотрите люди, — только здесь я.
И не надо вешать ярлыка.
Знает Бог, — еще какая песня
С моего сорвется языка.

ПРОМЕТЕЙ

Ночь темна. И я к скале прикован.
И шумит над головой листва.
Каждый полдень прилетает ворон —
Исполнитель воли Божества.

Пусть свершится надо мною милость.
Пусть скорей ко мне приходит смерть.
Многое на свете изменилось
Оттого, что я рискнул посметь.

Вижу свет далеких, мирных окон,
Начинаю псом бездомным выть.
Злые люди, я огонь вам отдал,
Вы успели обо мне забыть.

Эта цепь — моим делам свидетель.
Слезы счастья выбегут из глаз.
Я один остался в целом свете.
Мой огонь объединяет вас.

СТОЛЫПИНСКИЕ ВАГОНЫ

Дробь барабанная колес на перегонах.
Мотив тоски любой обходчик знает.
Когда бегут безглазые вагоны
Вокзалы полусонные зевают.

В вагонах курят, обжигая пальцы больно,
В них приговор — единственный начальник.
Здесь на дожде торжественно и вольно,
А там не спят безумными ночами.

А там поют, и плачут, и бормочут
Слова о ней — незримой и далекой.
А там желают написать две строчки
И Бог с ней с этой горькою дорогой.

Мне на душе становится печально,
Когда несутся под гору с разгона,
Как преступленья слепо и отчаянно
Стольпинские страшные вагоны.

*

И за этой каменной стеной
Знаю есть совсем живые люди.
Верю в то, что встреча скоро будет
И моя, и встреча их со мной.
Знаю, облака плывут, плывут...
Знаю, что река течет, как прежде...
С каждым днем все чаще, а не реже
И грущу, и мучаюсь я тут.
Нестерпим ее порыв в пространство.
Ненавижу подлость, лесть и чванство.
Словом мир — безликий и чужой.
Пусть живут любовь и постоянство
И за этой каменной стеной.



Поезд мчится и мчится.
Смотрю из окна.
Край равнинный лесов и скворешен.
Ты меня не вини, дорогая страна.
Пред тобою, я грешный — безгрешен.

Пред тобою я чист,
Как обветренный лист,
Как костров полыхания злые.
Я люблю твой лесной и неслышанный
Свист,
Твой разбойничьий посвист, Россия.

Поезд мчится и мчится.
И рельсы дрожат.
И вагоны страдают одышкой.
Несомненно, домой, несомненно, назад
Не вернуться мне прежним мальчишкой.

Я все песни пропел.
Я душой загрубел.
Я ни слова скажу, не проверив.
Я смотрю, как октябрь ведет
На расстрел
Беззащитные толпы деревьев.

Я смотрю, как закат заиграл,
Как горнист,
Как бегут перелески босые.
Я люблю твой ужасный, прерывистый
Свист,
Твой разбойничьий посвист, Россия.

С. И.

Рыбы молчат в аквариуме.
Им нечего произнести.
Рыбок этих подкармливают
Любители живности.

Рыбки съедают мало.
Дышат они лениво.
Где их судьба поймала?
Чем же их приманила?

Рыбки живут за стеклами.
Рыбки приносят прибыль.
Кто-то живет за окнами,
Напоминая рыбок.

Кто-то с ними играет,
Кормит едой исправно,
Так на свете бывает,
Хоть это порою странно.

*

Не надо ругать меня, ладно?
Три шага вперед, три обратно.
Не надо ругать меня, слышишь?
Здесь даже письма не напишешь.
Здесь кофе себе не устроишь.
Здесь вены, конечно, не вскрыешь.
Здесь на пол нельзя даже плюнуть.
Но можно вышагивать, думать.
Не надо ругать меня, ладно?
Три шага вперед, три обратно.

СТИХИ В ОДИНОЧЕСТВЕ

Да, стала комната иной —
Застенчивой и голой.
Но лишь как прежде за стеной
Играет радиола.

И только снова, как тогда
Упрямо, бесталанно,
На кухне падает вода
С начищенного крана.

Вокруг нетронутый покой.
А я похож на вора.
И только снова за стеной
Играет радиола.

И только снова в суете
Живут слова блажные.
И только мы уже не те.
И только мы чужие.

Сквозняк гуляет день-деньской
Один по коридору.
И только снова за стеной
Играет радиола.

Слова любви лишь миг живут,
Лишь миг, мгновенье только.
И письма жгут, конечно, жгут,
Не сохраняют долго.

На пыльном, умершем окне
Я вывожу три слова.
Напоминая что-то мне,
Играет радиола.

Мотив веселенький звучит,
И публика хохочет.
А сердце чуткое стучит
И забывать не хочет.



Небо потемнело, словно омут.
И его не взбаломутить песней,
Полетели журавли над домом,
Над землей усталой и осенней.

Полетели в горестной печали
Жутко, тяжело, непоправимо.
Им дорогу эту нагадали
Листья пожелтелые рябины.

Журавли в своей тоске курлычут,
Пролетая в небе надо мною,
Словно безнадежно нечто кличут,
Нечто слишком близкое, родное.

Нечто неизвестное по книгам,
Что мешает продолжать дорогу.
Я по этим отрешенным крикам
Узнаю разлуку и тревогу.

*

От стены пять шагов до стены.
Лица близких людей не видны.
Только узкий, как щелка, засов.
Только медленный топот часов.
Только желтый назойливый свет.
Только перечень боли и бед.
Только горькая совесть, душа,
Умирают легко, не спеша.

СТИХИ О ТОВАРИЩАХ

Знаю я, что всегда правы
Будут те, кто любви не знал.
Кто своей не склонил головы,
Кто пощады не ждал.

До свиданья, мои друзья!
Вам отчаиваться нельзя.
Оставайтесь сами собой
И один, и второй.

Между нами пурга и мрак,
Между нами снега одни,
Поступайте всегда лишь так,
Как в прошедшие дни.

Не забудьте меня, прошу.
Я вам душу свою крошу.
И бросаю ее туда,
Где тоска и беда.

Ваша боль — это наша боль,
Нестерпима порой она.
Мы совсем не играем роль,
Наше дело — не сторона.

Время, годы скорей гони,
Не вдвоем мы, и не втроем.
Нет, придут еще наши дни,
Мы еще проживем!

До свиданья, мои друзья,
Вам отчаиваться нельзя,
Оставайтесь сами собой
И один, и второй.

СТИХИ В ДОРОГЕ

Невозможен, неповторим
Вне привычек и вне канонов,
Барабанный колесный ритм
И подмигиванье вагонов.

Убегают назад столбы,
Исчезают из виду спешно,
Вестовые моей судьбы
Безалаберной, не безгрешной.

Машинист не валяй дурака,
Будь доволен тяжелым рейсом.
Скоро нас прижмут облака
К этим мокрым, холодным рельсам.

Сил моих уже больше нет
Обитать среди зла и сора.
На запретный, на красный свет
Я, наверное, брошусь скоро.

ИНСТИТУТ СЕРБСКОГО

Больница...
Не просто больница.
А тени и полутона.
О где вы, любимые лица?
Больница или тюрьма.
Лилового неба кусочек
Меня вовлекает в игру.
Не надо, не надо отсрочек
Я тут, очевидно, умру.
Не надо короткой прогулки
Шагами людских похорон.
Я знаю в глухом переулке,
Московском, — купеческий дом.
Фронтон подпирают колонны,
Ступеньки — истертый гранит.
Минувшего века каноны
Тот дом молчаливо хранит.
А ты и не ведаешь даже,
Что в серой больной тишине
Три желтых окна бельэтажа
Мне видятся часто во сне.
И может быть, скоро случится,
Что я не снесу тишины,
Больница, о эта темница,
Четыре холодных стены!



Нет ни утра, ни солнца, ни света.
Что-то ждет еще там впереди?
Или, может, пригрезилось это:
Две руки на усталой груди?

Книге жизни уже не листаться,
Подведен каждодневно итог.
Беспощадную пропасть пространства
Отражает надменный глазок.

Вот доносится колокол дальний,
В мертвом воздухе движется пыль.
Человек абсолютно нормальный,
Но не верит в суровую быль.

Человек в духоте сумасбродит,
Он свой смысл положил на весы.
Где-то маятник ходит и ходит,
И отсчитывает часы.

На тюремной, железной кровати,
На исходе последнего дня,
Ниспосли мне, Господь, благодати,
Сохрани и помилуй меня!

*

Мне душу, как костер потухший,
Еловой веткой ворошить.
Опять во имя верной дружбы
Над ней плясать и ворожить.

Моя душа полна тревоги.
Таких тревог на свете нет.
В ней словно собраны дороги,
Дороги зла, дороги бед.

Лечить ее — лекарства нету.
Душа моя, о что с тобой!
Любовь к добру и жажду света
Заменят ненависть и боль.

*

Тяжко, зло и устало,
Версты перелистав
И сотрясая шпалы,
Прогрохотал состав.

Красная сыпь рябины,
Мертвый строй облаков,
Долгая пантомима
Шлагбаумов и домов.

Словно скульптура абстрактная
Высится в полный рост,
Нескладный, неаккуратный
Железнодорожный мост.

И чередуя вещи,
События, дни, года,
Страшными и зловецами
Кажутся поезда.

Хрипло вращаются оси,
В небе холодная муть.
Очень поздняя осень,
Очень далекий путь.



Снова скована льдом вода,
А в глазах пурги круговерть,
Что сегодня, как никогда
Мне напомнило смерть.

И не слышен собачий лай,
И из труб не курится дым,
Невозможно быть — так и знай —
В эту пору незлым.

Но возможно спокойным быть,
Каждый метр осторожно брать,
Чтоб дороги холодной нить
В темноте не порвать.

Ах, как воля тогда нужна,
И упрямство своей руки,
А зима, как щека нежна,
Утром после пурги.

Утром после пурги — покой.
Ни намека нет на беду.
Ах, как хочется быть с тобой,
Потому я иду.



Я не стремлюсь кого-либо ославить,
И против возражений встать стеной,
Но все ж не каждый,
 кто поставлен править,
Достоин править собственной страной.

Во Франции, захлестнутой пожаром,
Дантон нашелся — и Людовик влип!
А на Ивана Грозного недаром
Ниспослан был митрополит Филипп.

На каждого тирана, кровопийцу,
С ногами воззалезшего на трон,
Во все века пойдет цареубийца,
Защитник Правды, кто бы ни был он.

И если даже руки крепко свяжут
Ему, — то он, порывист и суров,
Свое нам напоследок слово скажет,
Честнейшее из самых честных слов.



И снова наступает утро.
А в душном запахе сирени
По всей России дремлют чутко
Поселки, станции, селенья.

Шоссе, как бы покрыто лаком,
Молчит, насупясь, бор сосновый.
Росой зеленый луг заплакан
В преддверье сумрака лесного.

И чей-то голос в отдаленье
Звучит напевно, нетревожно.
Сегодня — май и воскресенье,
И о душе подумать можно.

Конец мытарствам горьким нашим,
И может быть, на самом деле
Земля становится все краше.
А мы и жить-то не успели...



Ночь темна, сродни кофейной гуще,
и идет, не озираясь, следом.
Славно сознавать себя живущим,
знать, что ты товарищем не предан.

Взаперти безумен южный ветер,
побережье теплое тревожно.
Очень трудно быть живым на свете,
иногда — почти что невозможно.

Очень трудно быть веселым, шалым,
но труднее грустным быть и сильным.
И следы смывает шаг за шагом
море Черное своим приливом синим.

Музыка безмолвия и смуты,
музыка травы, печали, лета...
Я иду задумчивый и смуглый,
понимая и не понимая это.

Я иду туда, где небо к морю
тянется, как полюбивших губы.
Схвачены упругой тишиною
огоньки далекой Гудауты.

Стрелкой движется плывущей шкуны мачта.
Ах, как много боли я изведаль.
Но я жив. Я жив еще пока что.
Никогда на свете я не предал.



Поэтов редко награждают
И ставят памятники редко.
Их лист бумаги ожидает
Ночная тишь и табуретка.

В поэта враг не промахнется,
И пистолет не даст осечки.
Неоднократно кровь прольется
Еще у новой Черной Речки.

Мечтающий о брэнной славе,
Которая его покроет,
Писать стихи вообще не вправе
И говорить о нем не стоит.

О как кощунствует поэт,
Почтя поэзию за средство!
В нем добрых чувств отныне нет,
А, значит, нет души и сердца.

К нему не выпорхнет беда,
Не снизойдет к нему тревога.
Уже закрыта навсегда
Наитья верная дорога.

Не камней! Безумствуй! Мчись!
Живущий не единым хлебом,
И на своей беде учись
Одoleвать людские беды.



Прощайте руки всех разлук!
Прощай, судьба моя — ворона!
Я слышу четкий перестук
Колес усталого вагона.
Локомотив свистит в ладонь.
Октябрь зовет к ответу.
По сторонам летит огонь,
Пронзая полночь эту.
Сырой полынью горек рот,
От немоты он выжил.
Я обернусь за поворот
И прошлое увижу.
Туман на рельсах распластав,
Со скоростью безмерной,
Играй загруженный состав
Прелюд последней веры.
Кури и радуйся купе,
Чужие чти рассказы,
Неси дорога, — а тебе
Я не соврал ни разу.
Неси, дорога, хоть куда!
И смейся, смейся, смейся...
Гудят ночные провода,
Изнемогают рельсы.



Оживет пусть душа!
Как безмерна любовь и безропотно счастье!
И огрызком карандаша,
Чуть дыша,
Эти строки пишу вам сейчас я.
С непривычки рука
Чуть дрожит, я отвык от работы.
Я сваял дурака,
Но узнал очень важное что-то.
Я безрадостным был.
Что поделать — такое бывает!
А теперь даже пыль
Слово нужное мне добавляет.
А теперь даже я
Счастлив, что не поддался.
Не забудьте, друзья,
Ведь таким, как и был, я остался.

АБХАЗСКИЙ ДОМ

Ночь все горше, все горше, все горше.
Очень тихо в абхазском доме.
Не рассказывай больше о прошлом
Все равно я тебя не пойму.

Я твой парень, твой парень, твой парень.
В небе скачет серебряный конь.
Мое сердце — не камень, не камень.
Мое сердце — поющий огонь.

Горьких слов я не слышу, не слышу.
Разве можно винить меня в том?
И все тише, все тише, все тише
Ухожу в твой прерывистый сон.

Ты пытаешь, пытаешь, пытаешь.
Я сознаться во всем погожу.
В облаках ты витаешь, витаешь.
Я по тверди земной прохожу.

Ночь все горше, все горше, все горше.
Ночь надменна, как горская знать.
Не рассказывай больше о прошлом.
Не желаю я прошлого знать.



Листья несутся, мечутся
В желтой бешеной вьюге.
Долгой осенью лечатся
Все людские недуги.

Ветра порывы страшные
Вдруг навсегда становятся
Всеми мечтами нашими,
Всеми словами новыми.

Краски ложатся мутные
На поля, на опушки.
В церковь плетутся мудрые,
Сгорбленные старушки.

Глаз прохожего радует
Поздней осени ярмарка.
Красное солнце падает,
Словно позднее яблоко.

*

Собирайте стихи по строке,
Очищайте настойчиво, твердо.
И держите, как будто в руке
Драгоценность, — пшеничные зерна.

Дорожит ими пахарь не зря,
Вековечный кормилец России,
Вот, смотрите, восходит заря,
Озирая посеvy густые.



Я учусь еще в первом классе.
У меня мало слов в запасе.
Перепачканы пальцы мелом.
Жду, когда она — перемена.
А учитель взирает строго.
Я хочу убежать с урока.
Мною только азбука пройдена.
Вывожу на доске слово: «Родина».
Научился этому только,
А потом мне ставили двойки...



Люди, высшею страстью любви облученные,
Для мещан и для циников вы — обреченные.
Вас не в силах риторики залпы исправить,
Вы своею судьбою обязаны править.
Ненавижу завистников ваших тупых, гладковыбритых,
В бронзу мертвую славой незавидной вылитых.
Как люблю вас, товарищи, в мыслях парящие,
Мастера — дорогие, хорошие и настоящие.
Говорящие прямо, смотрящие далеко, глубоко,
Ложь умелую бьющие смело, до всякого срока,
Как солдат наступающий в душной атаке,
Как ручей прорывающий землю в овраге,
Как стихи — откровеньем сердец нареченные,
Как грехи — не замоленные, прощенные.
Как люблю вас, товарищи, славные, лучшие,
Как себя из-за вас я ночами бессонными мучаю.
Я такой, как и вы, мелочам не поддавшийся.
Горечь, страх, нетерпимость осилить старавшийся.
Даже в малом, и то, изменить вам не смею.
Вас люблю я, товарищи, в вас я, товарищи, верю.



Деревья стоят, как и прежде,
У самой реки на краю.
По белой парадной одежде
Я место свое узнаю.

Иду прямиком по тропинке,
Ни счастья, ни слез не тая.
Сейчас повторю без запинки
Простые стихи декабря.

Высокие стройные ели,
Замерзший ровесник-родник,
Наверно, и в самом-то деле
Я к лесу, как леший, привык.

Как мне непростительно надо
Открыть ему душу свою.
На свете одну лишь ограду
Из сосен живых признаю.

Среди долгожданного чуда
И кустику каждому рад,
Не знаю, кто я и откуда,
В безпамятстве не виноват.

Не в нашем продуманном мире,
Я где-то далеко, ввне.
Деревья стоят, как святые,
В глубокой, как грусть, тишине,

Читая в короткие миги
Среди голубой полутьмы,
Свои деревянные книги
И белую книгу зимы.



Друзьям неправды не прощал.
Но всех врагов прощал.
Быть честным я не запрещал.
Бесчестным — запрещал.

И при бахвальстве не молчал.
А при уме — молчал.
Я будни серые встречал.
И праздники встречал.

Людей на слове не ловил.
А лишь слова ловил.
И лишь тебя одну любил,
Когда еще любил.



Зима лежит под елками
Лениво, как медведица.
Залатала далекие
Дороги гололедица.

Я по скользящей плоскости,
По зеркалу кривому,
Иду без всякой робости
От станции до дому.

Заборы, словно стражники,
Следят за светом целым,
А у зимы в бумажнике
Земля лежит без дела.

И улица простужена,
И сердце очаровано,
И эти зори вьюжные
Мерещатся по-новому.

Тепло приму, как ласку,
Как луч добра и света.
Похоже все на сказку,
Но только сказки нету.



Нет, погибших уже не ждут.
Даже жены и те не ждут.
Самый страшный на свете суд
Это — времени суд.

О погибших один ответ,
Как на все лишь один ответ.
Говорят: мол, их больше нет.
В самом деле — их нет.

Только домик есть под горой.
Да под самой крутой горой.
Там хозяйка была молодой.
Ой, какой молодой.

Жили с мужем они вдвоем.
Очень мало жили вдвоем.
А потом он упал под огнем.
Под смертельным огнем.

На кого возлагать вину.
Не приемлет никто вины.
Мало тут обвинять войну.
Пол-вины у войны.

А хозяйка все ждет и ждет.
Каждый вечер стоит у ворот.
Даже ночью она не спит.
Сердце гулко стучит.

Сердце гулко колотится.
Забывать ей не хочется.
Разве можно того забыть
Кого стоит любить?..

ОТЦЫ И ДЕТИ

Как надоели разговоры эти.
К чему их вспоминать, да и зачем?
Но выплывают вновь «отцы и дети»,
Глупейшая проблема из проблем.

Предпочитая логике железной,
Свой объективный человеческий суд,
Скажу, — об этом споры бесполезны
И к истине они не приведут.

Отцы бывают разными по сути.
Не может быть на свете все равно.
И это в бесконечной нашей смуте
Известно всем и каждому давно.

Не стоит говорить пустые речи.
Различья будут, очевидно, в том,
Что, если кто чужих отцов увечит,
Его своим не назовешь отцом.

Не назовешь убийцу с подлой рожей,
Предателя, пророка лжеидей,
Надменно ожиревшего вельможу —
Примером подражания детей.

Нет, мы заслуг отцов не отрицаем,
Но разобраться сами предпочтем,
Кто честным был, — тот им остался, знаем!
Палач — вовек пребудет палачом.

И стоит ли другой касаться темы,
И с кулаками друг на друга лезть, —
Когда правы отцы, то нет проблемы,
Когда фальшивы, то проблема есть.

СТИХИ СКВОЗЬ ЗУБЫ

Если друг предает,
значит не было друга.
Если брат предает,
значит не было брата.
Нет, не вырваться, видно,
из дантова круга,
нет, как будто, пути
ни вперед, ни обратно.

Если сердце болит,
значит друг все же был.
Если сердце болит,
значит брат тоже был.
Только что суждено?
Я об этом забыл.
Все давно прощено.
Я его не любил.

Только, что за беда,
Если он обманул,
Только, что за печаль,
Если брат — лютый враг?
Громко сердце стучит,
В голове нудный гул,
И кленовая ветка
Качается в такт...



Разгоряченный, счастливый поэт,
Брось, не жалея, глухую обитель.
Помни, — в запасе времени нет.
Ты же не только мудрец и мыслитель.

Помни, — когда начинается бой,
Смелость и ум — равнозначные вещи.
Пусть же тогда и возвысится твой
Голос в защиту страстей человеческих!

ОТТУДА

Я — живой.
Вы слышите, — живой.
Этот дом рассудок ищет мой.
Этот дом — великий и немой.
Я — живой.
Вы слышите, — живой.
Я не бред.
Вы слышите, — не бред.
Все решает злобный кабинет.
Все решает много-много лет.
Я не бред.
Вы слышите, — не бред.
Я пытаюсь выйти на простор.
Выхожу в пустыню-коридор.
Я борюсь.
Вы слышите, — борюсь.
Я рассудок потерять боюсь.
Я больной...
Не верьте, — не больной.
Огражденный от меня стеной,
О насильник, ненавистник мой,
Ты узнаешь, я — живой, живой, живой...



Давит стен кирпичных теснота.
Это быль, а может привиденье?
Это боль, а может невезенье?
Несомненно, это неспроста.
У меня в руке краюха хлеба,
Надо мной синеющее небо,
Режущая душу высота.
А какое чувство тут, когда
Запах мая, как свободы слепок.
А мечту я выстрою из щепок.

Может быть, когда-нибудь, однажды,
К вам вернусь, хорошие друзья,
Утолить страдание и жажду
Из кипящей чаши бытия.



Вьюга вышьет узор на стекле.
А за окнами — белая муть.
Сколько разных тревог на земле,
Невозможно от них отдохнуть.

Наши лица украсила медь.
Сколько лет мне не спать и не спать.
Я однажды хотел бы пропеть
То, о чем не смогу рассказать.

Я хотел бы однажды уснуть,
Разомлев от вина и огня.
Так пускай мой безжалостный путь,
Кто-нибудь завершит за меня.

Ночь раскрыла тугой парашют
Перед тем, как упасть на кровать.
Я ни свет, ни заря попрошу
Разбудить — мне в дорогу вставать.

СТИХИ ДЛЯ ПАМЯТИ

Шарманщику было худо.
Но он на то и шарманщик.
Смотрели мещане хмуро
И думали: ах, обманщик!

И думали: эх, искусство!
И верили: ах, морока!
И гнали его в то утро
Со своего порога.

И он уходил в печали,
Собаки вокруг кружили.
А люди не замечали
И горькую водку пили.



Я про печаль, я только про печаль,
Моя печаль горька и несуразна.
Прошу ее — души не измочаль
Жестокостью житейского соблазна.

Прошу ее — не вороши стихов,
Воспоминаний пристальных и личных.
Я проживал в кругу своих грехов
Таких ненарочитых и обычных.

Печаль моя точнее с каждым днем
Мой смысл рисует на стене тенями.
Тяну я руку за календарем,
За новыми своими декаблями.

За новую свою пустотой,
Означенной невозмутимо, резко,
За новую свою правотой,
Пускай безмолвной, но безмолвной веско.

Я про печаль, я про печаль свою.
И только про нее без передышки...
Я, очевидно, где-то на краю.
Поэтому все прочее — излишки...



Слова не трать, сладкозвучный поэт,
На восхваленья имущих и славных.
На протяжении тысячи лет,
Ты есть защитник бедных и слабых.

Не отрицай, не кощунствуй пером,
Не забывай о простом человеке.
Лес славословья руби топором,
Он сухостоем пребудет навеки.

СКОМОРОХ

Скоморох — дурак обычный —
Рядом с капюшоном цирка,
Возле площади столичной
Всем казался круглой цифрой.

Медные ловил монеты
Ртом веселым и огромным.
С места двигался на место
Струйкой дыма невесомой.

Ждал ночного представленья,
В поднебесье — звездных пятен.
И прически рыжий венчик
Он рукой слегка лохматил.

Запах чувствовал чесночный,
Вкус изюма, шорох липкий...
И казался черной точкой
И безграмотной ошибкой.



Надо быть честным,
Надо быть гордым,
Надо быть верным,
Надо быть смелым,
Как бы тебя
Не схватили за горло,
Руки чужие
Ловко, умело.

Надо быть чутким
И в обращенье,
В слове своем,
В дальней дороге,
Только не надо
Плыть по теченью,
Надо сражаться,
Надо бороться.

Надо срывать
В бой по тревоге,
Если все поле
Засеяно ложью.
Надо быть честным.
Надо быть гордым.
Это не трудно.
Это не сложно.

ИСТОРИЯ О ЮНОМ КОРОЛЕ

Город пал. Город занят.
Незавидная роль.
И торжественно в замок
Входит юный король.

Прячут лучники стрелы,
Сабли в ножны кладут.
О великий и смелый! —
Трубадуры поют.

О король, ты был честен.
Люди знают о том.
Но наказанный лестью
И лавровым венком,

Ты устал от почета,
И от славы устал,
В жизни сбился со счета,
На колени упал.

Надоела корона.
И с душою вдвоем,
Ходит он исступленно
В королевстве своем.

Властелином быть — трудно.
Трубадуры поют.
О великий и мудрый!
Там разносится, тут.

Он скрывается в замок,
Мальчуган-властелин.
Он слоняется в залах,
Он, как прежде, один.

Но преследует свита
Попрошаек, трусих.
Только некуда скрыться
От себя и от них.

Славный, честный, усталый,
Злою зимней порой
От тоски и от славы
Умер юный король.

МЕЛЬНИЦА

На свете все перемелется,
Растащится и сгниет.
Где-то седая мельница
У горькой реки живет.
Сто лет ей, а может двести,
А может вообще пятьсот.
И с жерновами вместе
Вертится колесо.
Все перемелет мельница:
Жито, слова, почет,
Песни, которым верится,
Которые врут — не в счет.
В переходящей утвари,
В перетасовке дней,
Хлопочет она без усталости
Крыльями по воде.
Словно поет: переменится
Метод и стиль вранья,
Только как же без мельницы,
Только останусь я.



Мне скучно совсем не бывает.
А грустно — так часто, так часто.
За окнами дождь напевает
И дом начинает качаться.

И кажется: в мире так пусто.
И кажется, что бесконечно
Из подпола тянет капустой
И сыростью бесчеловечной.

И что-то такое на сердце
Лежит непонятно и горько.
И словно от крепкого перца
Хватает в простуженном горле.

За окнами дождь напевает
И дом начинает качаться.
А грусть, как вода, прибывает
И осень приходит прощаться.

Пора объяснить, как надо,
Зажечь новогодние свечки,
До праздника добрая мама
Их спрятала где-то на печке.

Пора заглянуть прямо в душу,
Черту подвести под собою.
Как в доме натоплено, душно.
Сейчас я окно приоткрою.

Мне скучно совсем не бывает.
А грустно — почти ежедневно.
Идут, — а точнее хромают
Вдоль просеки белой деревья.

ДАТЫ

Грущу в теченье многих дней
Всечасно. То есть —
Все даты в памяти моей
Чисты, как совесть.

Их невозможно объяснить.
Подобно свету
Они ведут живую нить
От лета к лету.

Им невозможно подражать.
Их не разучишь.
Над ними стоило дрожать
И душу мучить.

Пока что в ней еще живут
Дни объясненья,
Забывать про веру, дом и суд
Не преступленье.

Не преступленье вспоминать,
Что было рядом,
А это значит быть опять
Таким, как надо.

И ненавидеть подлость, ложь,
И знать природу,
А это значит — во всю мощь
Любить свободу.

Л. К.

От любой я тебя отличу.
Ты мне самое главное значишь.
Закричишь ты — и я закричу.
Ты заплачешь,
Я тоже заплачу.
Ты моя совершенная тень,
Неразумна, как я, но отважна.
Ты — свобода,
 ты — совесть,
 ты — вера,
 ты — день!
Мне от этого сладко и страшно.
Ты молчишь...
Но гудят провода,
Громыкают железные крыши...
Я тебя полюбил навсегда.
Я тебя навсегда ненавижу.
Я тебя никому не отдам,
Я от взоров людских тебя скрою,
Я тебя узнаю по глазам.
Я тебя называю Судьбою!



Маляр хотел постичь талант художника.
Он был хитер. Художник был умен.
Смешались краски солнца с подорожником.
Но что к чему? Кто ведает о том?

Маляр заборы одевал по-летнему.
Хотел мазнуть разок по облакам.
Художник, так сказать, писал портреты,
И прочие картинки дуракам.

Трудились оба, рук не покладая.
Любой из них по-своему хорош.
Но просто — кто правдивей был, не знаю.
Талант — правдивость, очевидно все ж.

И яблони в жару перепотели.
И струйки вытекали вкривь и вкось.
А тот художник маляром хотел бы,
Но этого ему не привелось.



Не про любовь...
Я это не пойму,
Не опущу и глаз я виновато.
Как тяжки пораженья и утраты!
Опять мне быть, как прежде, одному.
Не про войну...
Я это не пойму,
А про бои бессонные с собою.
В них грудью я товарищей закрою,
Паду на поле, не очнусь в плену.
Не про добро...
Я этого не знаю.
Я только с каждым годом повторяю, —
Один ответ,
Всю вереницу лет,
Безумством опаленных и убитых,
И боль побед, чужих побед,
И имена на всех могильных
Плитах.

ДЕКАБРИСТЫ

Поэма

Поэма «Декабристы» и стихотворения «Песня под стук ладоней», «Птица-Феникс» перепечатываются из журнала «Русское слово», Москва 1966.

РЫЛЕЕВ

А стихи пойдут на сигарки...
А поэмы развеются в улицах...
Ты уже не раз ошибался, —
Так чего же, мальчик, бунтуешь?
Подавляй, подавляй свои чувства!
Подливай, подливай в стаканчик!
Но уже всё на свете чуждо.
Против всех ты бунтуешь, мальчик.
Обломают, а тело вывезят,
Как рисунок для обозренья.
Видишь виселиц чудо-выставку?
Будем мы с тобою соседями.
Посмеются планет созвездия,
Как ногами мы станем покачивать.
Нам от Бога только спасение,
От людей — одни лишь проклятия.
Нас с тобою протащат волоком,
И друзья зараз отрекутся.
— Эти мальчики, — скажет ворон, —
Поперхнулись на Революции.
А жандарм ничего не скажет.
И сожгут нас, точно заразу...
Только рано, наверное, каяться,
Может, стоит ещё попытаться...

ПЕСТЕЛЬ

А если меня осудят
И душу мою раскроют, —
То барабаны-судьбы

Мне не дадут покоя.
И будет чуть слышный ропот,
И будут красные листья,
Зелёные робы,
И роты,
И рожи —
Начальников лица,
Беспамятство, поражение,
Измена, победа, мечта,
Святое Преображение
И светлая чистота.
Но только не хватит духа,
Бумаги, перьев, чернил,
Чтоб перечислить души
Жителей всех могил,
Что сопутствуют бегу
Времени и вранья...
Измены,
 боги,
 победы...
А записать нельзя!!!

БЕСТУЖЕВ

А, вот и вы ко мне пожаловали!
Прошу. Шинель на кресло вешайте.
Вот комната моя, пожалуйста!
Вы безупречны, просто вежливы.
Вы беспощадны, просто пристальны,
Когда меня вы изучаете.
Бумаги, стол — моё отечество.
Перебирайте жизни клавиши.
Но вот, помилуйте, отречься
Нельзя мне, как нельзя раскаяться.

Хоть в первый раз мне показания
Писать лиловыми чернилами, —
Они облепят мне могилу,
Раз свыше будут указания.

МУРАВЬЕВ

В голове — благовер, Благовест.
Но под нами уже не площадь —
Только скопище старых надежд,
Осторожных, приятных наощупь.
Нас с тобою введут в кабинет,
Нас вопросами замуруют.
За окном караул марширует,
И не скоро настанет капель.
И от опытной ворожбы
Распахнуть мне придется ворот,
Потому что вольному — воля,
Потому что вольному — ворон
Вставит в рёбра свои ножи.
Мне приносят разборчивый текст.
Я слова ощущаю весомо.
Но уже становлюсь весёлым,
Но уже в голове — мятеж...

КАХОВСКИЙ

Декабрь... И в этом декабре
В клубок сплелись наши страсти,
Глаза смешались, словно снасти
У затонувших каравелл.

А нам нельзя пойти на дно!
Нам всем задраивать пробоины,
Нам всем мерещатся побои,
Пророки, боги и оно —
То трепетное беспокойство,
В котором можно утонуть,
Но можно также всплыть наружу,
Хоть наш корабль свинцом нагружен,
И хоть на дно он держит путь...
Декабрь... Всё та же суетливость!
Но ничего не совершилось!
И пусть корабль идёт на дно,
А мы из трюма не просились...
Нам поражение дано!..

13 ДЕКАБРЯ

Когда простор для мысли узок,
То души пламенем горят...
Но распадется этот узел
На середине декабря.
Узнают горечь пораженья
Их благородные сердца.
Останутся — любовь, горенье,
И гнев, и доблесть — до конца!
Но только десять откровений,
Переделённые на два,
Багровой краской заалеют,
Как их предсмертные слова.
А на плацу, продутом ветром,
Ночной им вспомнить разговор,
Помедлить в переливах лета,
Которое вбежит во двор...

14 ДЕКАБРЯ

Колючий ветер хочет
шрапнель швырнуть в лицо.
Не явится на площадь
диктатор Трубецкой.
Безмолвие.

Молчанье.

Начальники начал,
как будто янычары,
с клинками у плеча.
А искра риском тлеет.
Смеркается уже.
Агонию затеет
преступная картечь.
Минута роковая,
а тянется, как год.
Готовы Россинанты
бунтующих господ.
Острог в глазах маячит,
как горькая слеза.
А может быть, иначе?
А может быть, назад?
Но поздно.
Город полон
жандармов и карет.
И ровно-ровно в полночь
в них вместится каре.
Повесят на кронверке...
Следов не запетлять...
Бестужев и Рылеев...
На всех один палач...
А заговор — не заповедь, —
его не обыграть!
Купцам конца не жалко,
для них один коран:

порядок,
сытость,
 праздник
вкруг строя казаков.
Да разве спросит праздность:
«Помилуйте, за что?»
Но над страной солдатской,
среди мусора, муштры,
герои той, Сенатской,
до нужного нужны...

13 ИЮЛЯ

Утро. Рано. Спит столица.
Но сменился караул.
Застывают злые лица
На растерзанном ветру.
«Не узнали б, Бога ради,
Что преступников казнят!
К чёрту эти маскарады!
К бесу, к бесу эту казнь!» —
Думает полковник Сукин
И считает про себя
Цепью скованные руки:
«Первый...
 двое...
 трое...
 пять!»
Непонятно! Все — дворяне.
Есть и служба и жена,
А пошли во имя рвани,
Плебса, нищих и хамья.
Что им, грешным, больше нужно?
А зачем? Нет, не пойму!»
Стынут люди, стынут ружья

На растрепанном ветру.
А начальник этот, Сукин,
Раз за беленький платок, —
«Всё ж поэт, а тоже участь,
словно нимб, на нём мешок!»
Шесть часов.

Туманность.

Утро.

Горожане сладко спят.
Господин начальник Сукин
казнь проводит, как парад.

КАТОРЖАНЕ

Честь России, как слезинка,
Застывает на ветру...
Вот идут они слепые,
Не идут, а их ведут
Три жандарма,
шесть жандармов
Или целый эскадрон.
Ты бери, Сибирь, — не жалко!
Мы тебе их отдаем!
Измотай их, изувечи, —
И помрут они тогда.
Сосны — это изуверы,
Инквизиция — тайга.
Снег под звездами искрится
Изумрудами в пыли...
Декабристы, декабристы,
Знали вы, на что пошли!
Не раскаялись, не сдались,
А крамольные стихи,
Словно цепи, для восстаний
Переплавим на штыки!

МОНОЛОГ ЖАНДАРМА

Корнеты и поручики
проучены, проучены.
Словам моим порукою —
наручники, наручники.

Повешено лишь пятеро
под ветра гимн.
Совсем не обязательно
оставить жизнь другим.

И пусть смешные мальчики
смотрят на Сенат.
Мы теперь внимательны.
Мы — стена.

Делам жандармским учены,
и опыт есть.
Наручники, наручники
на волю, честь.

Пусть всякие поэтишки
поют про свой Парнас.
Повешены, повешены
они уже сейчас.

Я говорю вам искренне,
что в силе — правда есть.
Подписаны, подписаны
приказы на арест.

Готово всё заранее:
тюрьма, палач, острог.
Любое мы задание
исполним точно в срок.

Мы — государства стражи.
Мы — тишина в стране.
Печорины не страшны,
а Муравьевых нет.

Служителей у трона
несметное количество.
Кто посмеет тронуть
покой Его Величества?

А пока насыщено
мы ходим там и тут.
Мы — сыщики. А сыщика
необходимый труд.

Он верный, исполнительный
и чуткий, как Орфей.
Когда не будет критиков —
не будет палачей.

А если не получится —
наручники, наручники...

АВТОРСКОЕ

Мне сны тревожные снятся...
Особенно в декабре.
Тогда иду на Сенатскую
И становлюсь в каре.

И тотчас меня окружают
Молча, без всяких слов,
Рылеев, Пестель, Бестужев,
Каховский и Муравьев.

А после, словно по-детски,
Спросят они меня:
«Правда, что вам в наследство
Досталась только петля?»

Правда, что лишь Некрасов
Да наш богемный поэт
Счистили черную краску,
Нас переделав в свет?

И что через сотню с лишним
Битых годов кнутом
В каждом русском мальчишке
Есть декабря огонь?

Что перешла по наследству
Ненависть к палачу?»
Что я могу ответить?..
Заплачу... и промолчу...

8 июля 1966 года

г. Москва

ПЕСНЯ ПОД СТУК ЛАДОНЕЙ

Скажите, а это правда,
что есть у вояки меч,
ружье, пистолет и сабля,
а у предателя речь?

Скажите, а это верно,
что чистый ручей — родник,
что свежестью дышит верба,
у совести есть двойник?

Скажите, а так бывает,
не осенью, а зимой,
что спелым огнем пылают
закаты над головой?

Скажите, а впрямь рассветы
встают перед каждым днем?
Скажите, а точно это,
что мы на земле живём?

Скажите, а может, можно
бурю увидеть и штиль,
правду разбавив ложью,
выдав за новый стиль?

Верить, мечтать и думать,
мыслить и убивать?
Скажите, а это дурость
вопросы вам задавать?

Скажите, а это правда,
что свет провожает мрак,
что счастье убийством пахнет,
которое дарит враг?

Скажите, а это верно,
что люди учат азы,
что есть у жандарма сердце,
а у него языка?

Скажите, а это точно,
что всё на земле — враньё?
Что каждый из нас — лишь точка
На жирной коже её?

ПТИЦА-ФЕНИКС

В нас заложен особый смысл.
Мы ведь люди. Нас кто-то создал.
Тот, кто создал глаза и сосны,
И цветы, и сорняк, и мысль.

Это было давно — когда
Птица-Феникс была глашатый.
А кто создал маленький атом?
Может, Бог? А может, Мечта?

Тут без Духа не обошлось.
Но откуда возникло пекло?
Человек восстаёт из пепла,
Как бы туго ему не пришлось.

И бессмертна его душа.

И поэтому Время, пенясь,
Жизнь от смерти не отделяет.
Может, Мир наш определяет
Птица-Феникс?

ФЕОДАЛ

Короткая повесть

Здесь чудесные места. Правда, много комаров, или как любовно их называют местные жители — комариков. Но и даже целые тучи их не заслоняют от человеческих глаз синие леса, голубые озера и зеленые травы. Охотиться можно тут и рыбачить. Можно даже в лесу с ночевкой остаться. Только палатку иметь для этого надо без дырок, да и место выбрать для нее среди сосен. Не мешает взять с собой флакон «Тайги». Это обязательно нужно от комариков. Но если кожа у вас дубленая, то обойтись можно.

Места эти на картах обозначены, как Ново-Китский район. Хотя говорят, что ни просто Китского, ни Старо-Китского районов и в помине нет. Эта проблема, быть может, сильно взволнует сотрудников краеведческого музея. Но музея такого пока что здесь нет. А потому история Ново-Китской земли отражается лишь в устных рассказах старожилов, да в официальных документах.

Говорят еще, что в двадцатые годы группа энтузиастов наладила при райкоме комсомола издание журнала «Вестник Ново-Китской старины», переименованный впоследствии в «Красную старину». Однако журнал закрыли, так как он, в основном, публиковал главы из дешевого издания «Истории государства Российского», да стихи графоманов-энтузиастов. Правда, одного из них послали учиться в Москву. Окончил он в столице энергетический институт, но инженером не стал. Писателем стал. До сих пор баллотируется на выборы в Верховный совет от той области, в которую входит его родной район.

Бывало еще, что наедут геологи да еще разные

начальники. Начинают по дорогам ходить, слова непонятные выговаривать, что-то вроде «фосфаты» и смываются, после того, как выясняется, что не то что водки, а и тройного одеколона в аптеке не купишь. Проходимцы — угрюмо говорят о них ново-китяне.

А недавно взбрело кой-кому в голову строить здесь завод силикатного кирпича или что-то в этом роде. Стройматериалов разных навезли, побросали по краям дороги и снова куда-то укатили. Лет пять лежало добро, — то под солнцем, то под дождем, — а потом решили использовать его все же в своих нуждах. Целые четыре месяца план разрабатывали — тут тебе и дворец культуры, и телятники, и курятники, и общежитие для матерей-одиночек, и ясли, и гусли, и прочие балалайки... Только не вышло дело. Одну школу построили, и ту только с помощью самих же учащихся. То ли материалу не хватило, то ли еще чего — неизвестно.

А живут вокруг хорошие люди. Правда, большинство пожилые. Молодежь бежит к большой культуре. «Эх, культуры» — говаривают старики — «девки брюхатые возвращаются, да ребята синеносые». Но ребят таких мало. Часто они не возвращаются вовсе, сделавшись работниками с хорошим заработком. Но этого достигают немногие.

Однако ново-китяне люди пробивные. Об этом нигде не написано. Так считают они сами.

2

Районный центр Новые Киты считается городом. В самом деле это, скромно говоря, поселок, да притом не из лучших. До советской власти о нем ничего не слышали. Но потом, когда «лампочка Ильича» заглянула и в эту глушь, отметили где-то на бумагах, а через какой-то период пожаловали Новым Китаем целых три вывески — «Райком», «Райком комсомола», «Райсовет». Вот

так и стало глухое местечко не чем иным, как культурным и политическим центром новообразованного района.

Тысячи три народу в городишке наберется. Все они друг друга знают и многие здороваются между собой при встрече на улице. Работают все на лесопилке, в нескольких захудалых артелях, да в совхозах, поля которых тут же за одноэтажными домишками — рукой подать. Часов в восемь всякая жизнь в Новых Китах замирает. На площади Революции и на улице Передовиков, которая раньше почему-то называлась Импортной, горят редкие электрические фонари. Остальные улицы, тоже со звучными названиями, не освещаются. Это, наверное, потому, что они не мощены. Всю ночь воют собаки, душераздирающе вопят коты. Изредка слышен пьяный мат. К утру в городе будут тишина и спокойствие. Многие встанут в шесть часов. А в семь почти все на ногах. Без десяти минут девять из конца в конец улицы Передовиков к зданию райкома проедет старая «Победа» бежево-грязного цвета. За рулем сидит сам Кетинов — секретарь райкома. Потом снова все стихает. Только у магазинов люди будут либо ругаться, либо приветливо здороваться.

Местная интеллигенция держится особняком. Это несколько учителей, ветеринар, агроном да два-три инженера с дипломами, работающих на лесопилке.

Есть в городе еще одна интересная личность. Это Иван Савельич Померанцев, человек немолодой, в пенсне без одного стекла. Он общителен, но друзей у него нет. Иногда только встречают его с акушеркой — старой девой, истеричкой и сплетницей. Они мило прогуливаются от водонапорной башни до пекарни и обратно. В молодости гражданин Померанцев имел какое-то отношение к партии кадетов и выписывал сразу две газеты либерального направления — «Речь» и «Русское слово». Правда, ввиду некоторой отдаленности Новых Китов от остальной России, получал их с большим опозданием, порой месяцев в пять, а то и в полгода. Пришлось отка-

заться от либерального читива. Тем более, что и жандармский ротмистр и батюшка стали косо поглядывать на молодого смутьяна. Ветер двух революций не растрепал его волос. В 1926 году при заполнении анкеты Иван Савельич Померанцев против графы: «Как относитесь к советской власти?» написал — «лояльно». Он теперь выписывал журнал «Следопыт». Взгляды переменялись. Вместо конституционной монархии и народной свободы он мечтал теперь о сносном окладе и хорошей, не пыльной работе. Подвернулось нечто среднее: работник райсовета, а именно — бухгалтер. Помогло то, что смог когда-то окончить гимназию. Работал без рвения, но аккуратно. Жениться не успел. Быть может, просто не захотел. На ком жениться-то? На доярке Нюрке? Он интеллигентный человек. Своих земляков Померанцев называет не иначе, как «быдло» или «дерьмо». Такова жизнь. Против истины не попишешь.

В положенное время он вышел на пенсию. В магазине он покупает сушки с черными точечками, то ли мушки засидели, то ли маковые зернышки прилепились. У соседей покупает яблочное варенье. Картофель сажает и ест сам. Что он делает в своем прогнившем доме — неизвестно никому. Неизвестно и то, что он думает. Говорит мало. Примерно следующее: продали большевички матушку-Россию. Отсюда идет ряд вариантов. Один из них Померанцев преподносит каждому. Говорит так: раз покойный государь-император Николай Александрович вызывает меня к себе в Санкт-Петербург и спрашивает: «Скажите-ка мне, пожалуйста, любезнейший Иван Савельич, — давать мне Конституцию или не давать?» Я ему, конечно, отвечаю: «Ни в коем случае Ваше Императорское Величество!» И вы думаете он меня послушал? Ну, если бы он послушал! Нет. Он дал Конституцию. И вы теперь видите, что из этого вышло. Хаос! Тартар!

Его не понимают. Ничего не видят. Одни не доносят на него, так как думают, что старик выжил из ума.

Все-таки бывший конституционалист-демократ, и такое! Но о кадетах знают мало. Остальные просто знают, что в недавнем прошлом Иван Савельич сам практиковал доносы. Отходят от него и мысленно ругаются. А тот шепчет себе под нос: «Прахом все, хаос, разруха...»

Молодежь собирается у Петьки Чуганкова. Ему тетка из Горькова присылает хорошие пластинки. На окно ставят старый патефон и танцуют прямо в саду. Часто поют песни. Раз в неделю привозят кинофильмы. Устраивают два сеанса.

3

Петьке Чуганкову восемнадцать лет от роду. Отца он не помнит. Матери его — тридцать шесть. Она работает в пекарне. Петька любит ее, а она его. Так и живут.

Учиться он пошел с семи лет. До этого бегал в дедовских трусах по улице и изображал Стеньку Разина. В пятом и в восьмом классах оставался на второй год. Любил читать о пиратах, о русских богатырях и о Французской революции. Учиться не нравилось. Делился с одноклассниками ворованными яблоками и не терпел жестокостей. Раз присутствовал на кошачьей казни. Мальчишки вешали восемь котов. Один был старым и рыжим, остальные — серо-буро-малиновые. В лесу на ветки положили перекладину. Закрепили на ней петли. Босоногий трехлетний карапуз бил сучком в жестянку. Он исполнял обязанности барабанщика. Палачи от четырнадцати до шестнадцати приготовились. «Раз, два, три!» — кошачьи тела вытянулись и задергались.

— И мяукнуть не успели, — засмеялся кто-то.

Петька бросился на него с кулаками.

— Ишь ты, паценок, слабак!

Это сказал этот кто-то, когда Петька уже валялся на траве. Он больно стукнулся головой о какую-то пал-

ку. Трехлетний малыш заплакал. Заплакал и Петька. Мальчишки испугались и ушли.

Кошек он все-таки похоронил. Ему было тогда лет семь.

Первый раз он влюбился во втором классе. Когда узнал о том, как делают детей, то разлюбил. Вторично полюбил уже в восьмом. Она была на год младше него. Пришлось провалить экзамены. На следующий год они уже сидели на одной парте. Потом Петьке доверительно сообщили, чтобы он бросил свои грязные замашки, так как ее отец — крупный работник. Учителю географии он плюнул в лицо. Хотели исключить из школы. Приходила мать. Она плакала. Его простили.

— Нужно быть самым модным, — решил Петька, — это компенсирует все физические и материальные недостатки.

Сказано — сделано. Брюки шириной в четырнадцать сантиметров делали его смешным. За красную рубашку и пестрые носки его прозвали попугаем. Он не расстраивался. Он был самым модным и по признанию большинства соучеников — первой головой в классе. Этого вполне хватило для того, чтобы Ленка Кетинава ответила ему взаимностью. Он вообще стал центральной фигурой для старшекласников, и через год он сделался их признанным вожаком. Красную рубашку и пестрые носки снимал только, чтобы постирать.

Прослышал про него сам Михаил Петрович Кетиннов — секретарь райкома, он же отец Ленки. Не понравились ему эти, как он назвал «амурные отношения» с его дочерью. После ополчилась против Петьки жена Михаила Петровича. Она сказала Ленке: «Твой хахаль — типичный стилига. Таких в столице ловят и на Колыму посылают. Будут указания и у нас начнут делать то же. И вообще он сомнительный элемент. Такие за тряпки кого угодно продадут. И мать продадут. И роди-

ну тоже. Так что не надо с ним дружить. Кстати, он тебе не пара — ведь, из простой семьи...»

4

В июне все экзамены за десятый класс были сданы. У Петьки Чуганкова собралась компания — человек двадцать. Отмечают сей торжественный день. Петька ждет Ленку. Без нее не начинают.

— А мне восьмой билет попался. Там про магнитное поле и еще про какую-то белиберду, — рассказывает Костя Храпов, друг Петьки. — Я ничего не знал. А вот все-таки вытащил меня за уши физик. И он ничего мужик. Раньше мы его недооценивали...

В комнату вбежала потная и красная Верка. Все обернулись к ней.

— Не придет Ленка. Не пускают ее родичи, — сказала она и виновато посмотрела на Петьку.

Тот насупился. Потом махнул рукой. Сурово произнес:

— Ну и черт с ними. Ленку все равно вытащу.

Завели патефон. Стали пить брагу и квас. Заедали малосольными огурцами и мочеными яблоками.

— Что теперь делать-то будешь? — спросили у Петьки.

— Работать пойду. Куда — еще не знаю. А следующим летом подамся в область. Поступлю в Мозольский горный институт.

— А в Мозольске еще пищевой есть.

— Нет, в пищевой не хочу, — ответил он, — я в горный подамся. Это уже точно.

А когда начались танцы, то Петька исчез. Он долго стоял на самом конце улицы Передовиков между двумя фонарями и смотрел на второй этаж желтого дома. Свет не горел. Ленка спала.

Он убежал в лес. Было тихо. Под ногами хрустели ветки. Так бывало, должно быть, когда узники ходили по средневековым подземельям. Ходишь и ходишь — кости топчешь. А то череп ногой поддашь — в футбол сыграешь. И то дело нескучное!

Петька размечтался. Светила желтая, как блин, луна. А где-то вдалеке шумела речка. А в остальном по-прежнему тихо. Потом он зашел в чащобу и намок в росе. Он любил этот лес. То сучья и стволы, то полянка с лесными травами по пояс. Чем не сказочное царство? Снова заходил в росу, снова выбирался под защиту мощных деревьев.

«Что же ты, дурак, влюбился, как тряпка», — ругал он себя. — «Конечно же, любить можно, но кто знает, может и впрямь Ленке со мной бывать нельзя. Может она для другого родилась. Ей, должно быть, муж с окладом в четыреста рублей нужен, и чтобы непременно автомобиль имел. А какая жизнь тут. Но не за автомобиль же любят люди? Хотя и он не маловажную роль играет».

Потом Петька вспомнил, что давно уже не читал хороших книг. Вспомнил, как по решению Конвента срубили голову Людовику XVI и прочим феодалам. Захотел устроить плаху, да и порешить на ней при всем честном народе Ленкиного батю. «Детство!» — решил после. — «У него свои понятия, у меня — свои».

Еще долго он ходил по лесу. Только с рассветом вернулся домой. На полу спал пьяный Костя Храпов. Петька убрал со стола, вымыл посуду и уснул, не раздевшись.

Утром его разбудила мать и протянула записку. Он развернул клочок бумаги и прочел: «Прости, дорогой Петя, что не смогла с тобой попрощаться. Говорила с твоей мамой. Она тебе все расскажет. Целую. Лена».

— Ма, — закричал Петька, — куда...

— Знаешь что, Петь, — произнесла мать сквозь

зубы, — уехала твоя Ленка. В Москву, что ли, уехала. Поступать куда-то будет. Просила не серчать. Напишет она тебе. Это ей отец посоветовал. У него там знакомств разных много. Вот и Ленку в люди выбивают. Так что ты, Петь, не переживай очень. Я вот тебе новую майку купила. Посмотри, красивая она очень...

— Дрянь мы с тобою, мамка, — завыл Петька. — Была бы ты инженером или хотя бы учителькой несчастной какой, — все по-другому пошло бы.

— Эх, мальчик! Рано любить-то тебе еще. Сначала образование получи. А потом ведь — Ленка тебе не пара. У них все по-другому. Тебе хорошая жена нужна. А Ленка твоя — белоручка...

5

Прошло месяца два. На пороге стоял сентябрь. Учистились дожди и с деревьев уже падали желтые и оранжевые листья. Запахло сыростью. Петька Чуганков работал в артели «Бумтара», где за пятьдесят рублей клеил бумажные пакетики и картонные коробки. Вместе с ним работало человек сорок мужиков и баб, преимущественно пожилого возраста. Писем от Ленки не было. Петька писал ей в Москву — Главный почтамт, до востребования. Синенькие конверты пришли назад. Они были помечены июнем. Июльские тоже должны были возвратиться.

— Пойду к ее родителям, — решил Петька и сообщил об этом Косте Храпову. Тот не отговаривал. И Петька пошел.

— Михаил Петрович на дому не принимает. Просим в райком, — открыв дверь сказала ему домработница с бородавкой на носу.

И Петька пошел в райком.

А тем временем пузатенький Михаил Петрович Кетинов совместно с женой ехал по узким улицам Мо-

зольска. Его вызвали в область. Чтобы не скучать, он и взял с собой супружницу, которой требовалось сделать кой-какие покупки в областном центре. Дела он уладил и возвращался теперь домой веселый и болтливый.

— Ну, Зиночка, — говорил он, лихо крутя баранкой, — покончили мы с бесхозяйственностью. Теперь тебе никакой кукурузы сажать не будем. Видимое ли это дело — кукуруза, тут у нас! А?! Я всегда говорил, что мы можем только картофель растить, да и прочий морозостойкий овощ.

— Миша, а чего ж ты раньше об этом не говорил? Тебя бы сразу заметили. Может быть, мы бы сейчас в Мозольске жили...

— Дура ты! — добродушно отозвался Михаил Петрович. — Ты сейчас тогда бы и Новых Китов этих сраных не видала б как своих ушей. Муж у тебя умница. А мы с тобой молодые. Как-никак сорокалетние. Это значит, что еще сможем и в столицу попасть. Дочь наша там. И мы там будем. И вместо задрипанной «Победы» — на новенькой «Волге» катить будем. Только высоко держать наш кетиновский дух необходимо. Я третьего дня видел, как ты с Прасковьей-молочницей беседовала. Не хорошо это, жена. Нельзя спускаться до всяких там кухарок. Это мой авторитет роняет. Уважения мне не будет. Одним словом, подрыв.

— Так скучно же мне, Миша, после отъезда Лены. Поговорить хочется.

— А ты книжки читай, вышивай, радио слушай. Я ж тебе специально из Челябинска сочинения Бальзака и Толстого привез. Большие деньги отдал. Тоже ведь люди, — Михаил Петрович усмехнулся, — при жизни, небось, скудно жили, а теперь вот их печатают, только гонораров они не получают...

— Читать-то тоже скучно, — заныла жена.

— Ну, ладно, прекрати, — оборвал муж. — Чего это тебе все скучно? Не подневольная ты. Хочешь весе-

литься, так можешь уходить с глаз долой. Серьезность — вот черта советского человека. Я всегда таким был. И в бутылку никогда не лез. Когда историю преподавал, то все согласовывал как надо. К примеру, взять Шамиля. Меня учили, что он вождь прогрессивного движения, а я учил, что он агент английского империализма. Теперь он снова вождь. Это я к чему говорю. А все к тому, что политика вещь поворотливая. Сегодня так, а завтра эдак... Тут, брат, ухо держи востро. А ты мне подмогой должна быть. Хочу с тобой поделиться — пожалуйста! Хочу повеселиться — тоже всегда пожалуйста! Вот так-то надобно, дорогая!

В таких рассуждениях прошла вся дорога от Мозольска до Новых Китов, каких-нибудь шестьдесят километров. Михаил Петрович отвез жену домой, пообедал вместе с ней, и снова на машине отправился на работу.

В райкоме было чинно и спокойно, как всегда. Симпатичная Любонька строчила на машинке. Михаил Петрович прошел по коридору, приветствуя сотрудников кивком головы, и исчез в своем кабинете. Через три минуты к нему вбежал товарищ Сусолькин — заведомом агитации и пропаганды.

— Чрезвычайное происшествие! Михаил Петрович, дорогой, выручайте!

— В чем дело? — Михаил Петрович сурово посмотрел на говорившего и, как подобает первому секретарю, сосредоточенно нахмурил брови.

— Бабки атаквали. Пришло три десятка старух и четыре инвалида. Добились приема. Ну, пришлось их принять. А они, поповские отродия, говорят: Отняли у нас храм Божий, клуб для народа построить хотели. А где клуб? Построили? Кукиш! Так что, давайте снова открывайте церковь. Мол, молиться там будем. Я им отвечаю, может еще и публичный дом в придачу построить. Э-эх, заплевали они тогда всего меня. Пришлось милицию вызвать. Да что участковый может с ними

сделать, со старухами! Насилу выпроводили. Грозятся еще и завтра нагрянуть.

— Ну, что ж, — спокойно произнес первый секретарь, — пускай приходят, а ты им и скажи: «Дорогие товарищи! По-моему личному убеждению все верующие люди являются психически ненормальными. Как только наступит благоприятный момент, они будут распределены по сумасшедшим домам. Но только пока этот момент еще не наступил». Да и, кстати, изучи их личные дела. Разузнай, кто из этих старух имел отношение к кулакам. И если кто имел, то напхни. В общем напхни, как следует.

— Будет сделано, Михаил Петрович.

И товарищ Сусолькин сияющий вышел из кабинета.

— Тяжела ты шапка Мономаха, — произнес вслух Михаил Петрович.

И тут в кабинет снова вошли. Михаил Петрович поднял глаза. На пороге стояла Любонька в капроновой кофточке, сквозь которую просвечивали розовый бюстгальтер и голубая комбинация.

— Ну что, мой верный помощник, — весело сказал Михаил Петрович и протянул ей сатиновый платочек, который он купил втайне от жены в Мозольске.

— Уй, какая прелесть чудная! — взвизгнула Любонька.

— Человек человеку — друг, товарищ и брат! — заржал Михаил Петрович.

— Ой, забыла! Я ж там срочное дело печатаю, а к вам пришла потому, что с самого утра к вам на прием какой-то парнишка лезет. Что делать? Он до сих пор ждет.

— Сегодня что-либо важное в наличии имеется?

— Вроде, как нет.

— Ну, тогда проси.

Через минуту в кабинет вошел Петька Чуганков.

— По какому делу ко мне?

— Я по личному, Михаил Петрович.

— Здравствуйте, прошу садиться и соблюдать приличия.

— Этого вы мне могли бы и не говорить. Я хоть, по-вашему, и стилига, но приличия знаю.

Михаил Петрович не ответил. Он сидел в кресле и смотрел на ножки стула, на котором водрузился Петька Чуганков.

— Петр Чуганков — моя фамилия, — отрекомендовался Петька.

— Так, — пробурчал Михаил Петрович, — знать о тебе знаю, а в лицо не видал. Значит, вот ты какой, возмутитель спокойствия! А ко мне зачем пожаловал?

— Я насчет вашей дочери Леночки. Хочу узнать ее адрес. Написать ей хочу.

— Нечего писанину разводите. Пусть контора пишет.

— Надо мне очень. Я ведь люблю...

— Любишь? — притворно удивился Михаил Петрович. — А ты знаешь что это такое? Любить — это тебе не в узких брюках ходить. Это тебе пуд соли с человеком съесть надо, а потом на руках его носить...

— А я требую, чтобы вы дали мне ее адрес.

— Не получишь ты никакого адреса. Щенок...

Петька вскочил. Он сжал кулаки и бешено закричал:

— А вы — куркуль! Феодал! Вот кто вы. Людовик XVI!

— Вот, негодяй! — взревел Михаил Петрович.

Петька громко хлопнул дверью. Тишина райкома была нарушена. В кабинет снова вбежала Любонька:

— Что случилось?

— Идите вы к... — выругался Михаил Петрович.

Он помрачнел. Щенок испортил ему настроение.

Стенгазету они вывесили у доски, куда иногда приклеивали «Мозольскую правду» и разные объявления. Она сразу же бросалась в глаза. Виной тому был красный заголовок «Ново-Китский хохотун». Первым читателем газеты был гражданин Померанцев. Поодаль стояла редакция — Петька Чуганков и Костя Храпов. Они следили за Померанцевым и ждали его реплик.

Первая реплика была: «Мерзавцы». Она могла быть отнесена и к ним, и к тем, о ком говорилось в газете, поэтому ребята не смогли уточнить отношение гражданина Померанцева к «Ново-Китскому хохотуну». Следующей и последней репликой было: «Контра». Петька и Костя переглянулись: они все уточнили.

Потом стенгазету читали все. А она была небольшой. Два рисунка и заметка. Первый рисунок, исполненный Костей, изображал одну из ново-китских улиц. Грязные лужи, темнота крошечная и тощие коты. Подпись была следующей: «Можно с уверенностью сказать, что наш район полностью электрофицирован (из выступления тов. Кетинова на первомайском собрании)».

Второй рисунок был без подписи. Выполнен он был графически. От квартиры Кетинова до райкома протянута линия, охваченная дугой. Над дугой цифры — 200 метров. И тут же нарисована «Победа» грязно-бежевого цвета.

Всем стало ясно, что каждодневный маршрут первого секретаря не укрылся от зорких глаз редакторов стенгазеты.

Статья начиналась хлесткой фразой: «До бога высоко, до секретаря далеко!» А потом (ее автором был Петька) она бичевала все «высшее общество» Новых Китов, начиная от первого секретаря и кончая завхозом средней школы. Оно обвинялось в мещанстве, лицемерии и непонимании общественных нужд.

Потом стенгазету перерисовали и вывесили в магазине. Там ее тоже читали и разговоров о ней было в Новых Китах на целую неделю.

На работе к Петьке подошел мастер Макаркин и сказал:

— Уважил ты нас, брат. Здорово всю эту шваль прохватил.

Петька заулыбался. А мастер Макаркин пожал ему руку.

7

Собрание было многолюдным. Присутствовали все сорок работников артели «Бумтара». Председательствовал сам группорг Иван Степанович Вотин. Рядом с ним за столом сидели мастер Макаркин и представитель райкома. Первым заговорил Вотин:

— Товарищи, прошу не курить. Дело, о котором пойдет речь, вам всем известно, и поэтому вы пришли сюда, очевидно, с чувством сугубой и принципиальной ответственности. Мы будем обсуждать вопрос первоочередной важности, который сам по себе выходит за рамки общественной жизни только одной нашей артели, и является делом всего нашего городка. А, быть может, и всего района. Это дело нам нельзя оставить под сукном. Нам нужно, нам необходимо раскрыть его до мельчайших деталей и обнажить антиобщественную, я бы даже сказал антисоветскую сущность нашего работника Петра Иннокентьевича Чуганкова...

(День назад Вотина вызвали в райком.

— Стенгазету Чуганкова читали? — спросили его.

— Читал, — ответил он.

— Оплошали? — сказали ему.

— Оплошал, — понял он.)

— ...предоставляю слово председателю райкома товарищу Загулову, — произнес Вотин и сел.

Тем временем Костя Храпов перелезал забор. В красный уголок артели его не пустили и потому пришлось пренебречь правилами соблюдения общественного порядка. Главное — проникнуть на территорию артели, а там и в любой уголок попасть можно. Штакетник трещит. Но не беда. Костя уже за забором. Теперь необходимо попасть в этот самый красный уголок. В дверях никого нет. Костя заходит в большую комнату и слышит, как товарищ Загулов произносит имя его друга. Костя ищет его глазами. А вот и он. В первом ряду, один, обхватив голову руками, он сидит и смотрит на красное сукно торжественного стола.

— Петр Чуганков, — продолжает Загулов, — надругался над всеми этическими и политическими завоеваниями нашего народа. Он, как оборотень, воспользовался доверием работников артели «Бумтара», чтобы и здесь пропагандировать свой прозападный, свой антиобщественный, и, как правильно заметил товарищ Во-тин, свой антисоветский образ жизни...

— Врете вы все! — Костя услышал Петькин голос.

— Молчите Чуганков, — оборвал председательствующий.

— ...Я не хочу советовать коллективу, какие меры нужно принять против этого типа. Я только хочу напомнить ему, что эти меры должны быть решительными и принципиальными, ибо морально-политическая распущенность Чуганкова нанесла нашему родному городу непоправимый духовный ущерб, который сам Чуганков не в силах возместить...

— Прощу слова! — внезапно вырвалось у Кости.

— Кто это? Как ваша фамилия?

— Храпов. Константин Храпов.

— Вы тот самый Храпов? Вы друг Чуганкова? — спросил председательствующий.

— Да. Я и есть тот самый Храпов, друг Пети Чуганкова.

— Как вы сюда пробрались? Вы знаете, что это такое?

— Я перелез через забор. Меня не пускали сюда.

— На закрытое собрание через забор, — завопил Вотин. — Вывести его. Чтоб и духа его тут не было. Немедленно. Необходимо усилить надзор... — он не договорил, схватился рукою за ворот и снова сел на свое место.

К Косте подошел милиционер, взял его под локоть и повел вон из красного уголка. У дверей Костя обернулся. Помахал Петьке рукой. Тот улыбнулся в ответ, кивнул головой, как бы обещая, что все будет хорошо.

— Подумайте только, что понаписал Чуганков об уважаемом всеми нами первом секретаре райкома партии товарище Михаиле Петровиче Кетинове: «Этот бюрократ может разглагольствовать о чем угодно. Он может обещать асфальтировать город или построить клуб. Но в самом же деле тов. Кетинов — это характерный тип болтуна, карьериста и очковтирателя. Такие, как Кетинов, — темные пятна на теле русского народа»... Слышите товарищи! Чуганков пишет русского, а не советского. Слово «советский» для него так же противно, как и другие слова, прекрасные по звучанию и вошедшие в обиход русских... ссссоветских людей еще при Владимире Ильиче Ленине. Это — райком, исполком, райсовет, собес, роно, спутник... Вот, товарищи, все вы видите наглое лицо двурушника и отщепенца...

— Сволочь ты, — закричал кто-то.

Этого «кто-то» тут же увели.

— Я продолжаю. Дружки и подпевалы Чуганкова могут срывать мое выступление, подрывая тем самым престиж всей Советской власти, но они бессильны повернуть историю вспять. Теперь одна треть человечества идет под знаменем социализма и таким, как Чуганков, не остановить этого мерного поступательного движения.

— Какого? — спросили из зала.

— Поступательного.

— Нет. До этого чегой-то сказали.

— Мерного?

— А-а... Вот именно, мерного. Спасибо за справку.

— Пожалуйста, — ответил представитель райкома, провел рукой по лбу и, спокойно глядя в лица людей, произнес:

— Я кончил.

Раздались жидкие аплодисменты, после чего председательствующий Вотин поднялся и сказал:

— Хлопать не надо. Шум от этого, да и пыль возникает. Мешают они, хлопки ваши, важным делам. А теперь слово берет товарищ Макаркин. Прошу, товарищ Макаркин.

Мастер Макаркин выступал плохо. Он говорил об узких штанах, о революционной бдительности и под конец, осудив поступок Чуганкова, сказал:

— Я сразу насторожился, когда вышла ента стенгазета. Нечисто дело. Так это я рассудил. А поэтому предлагаю! Слушайте, что предлагаю: Чуганкова Петра, 18-ти лет, за поступок, несовместимый со званием гражданина СССР, уволить с работы в нашей артели. Пуцдай такое добро дураки берут. А нам не надобно. Не надобно нам таких. Правильно я говорю, товарищи?

Два-три голоса поддакнули. Тогда мастер Макаркин всхлипнул:

— Я на фронте с врагом бился, ранен был, две контузии имею...

— У-у-у-у-у, — загудели люди, — правильно говоришь.

— Товарищи! Кто за то, чтобы уволить Чуганкова из артели, прошу поднять руки, — произнес Вотин. — Раз, два, четыре, десять...

— Кто против? Раз, два, три...

За увольнение проголосовало большинство участников собрания. Петьку уволили.

Одиночество. Полное одиночество. За окном шумит ветер. Скоро совсем стемнеет. Мать ворчит и возится с посудой. У Петьки во рту горько, словно он принял какое-то лекарство. А лекарств он не любит. Весь мир стал черным, и все люди сразу же испарились. Где его друзья? Они теперь сюда и носа не кажут. А где Костя? Он-то, казалось, не должен трусить.

И вот заходит Костя. Петька улыбается. Мать ворчит: ноги нужно вытирать. Костя не слышит. Он кидается к другу и обнимает его.

— Знаешь, парень, — говорит он, — меня сегодня в исполком на административную комиссию вызывали. Ох, умора!

— А, что такое? — забеспокоился Петька, усадив друга за стол.

— Ерунда. Оштрафовали меня. Червонец вытащить им пришлось. Теперь, небось, распивают три поллитра.

— Как это произошло? Расскажи.

— Ну, на это твое дурацкое собрание я пришел, а меня не пустили. Я через забор стал...

— Знаю. Дальше что было.

— А дальше вот такие пироги. Сегодня утром повестку принесли. Вызывают. Прихожу. Мне говорят: «Ждите, скоро один товарищ должен приехать». Не приехал. Закон от 1956 года пока что почитал. Там о хулиганстве. В общем от 5 до 10 рублей. Потом меня вызвали. Спрашивают: «Через забор перелезали?» — «Перелезал», — говорю. — «Десять рублей!» — «Позвольте», — говорю, — «мне всего шесть червонцев на работе платят!» — «А это нас не интересует», — отвечают. — «А, как и зачем я перелезал через забор, интересует?» Молчат. Достая десятку и кидаю в морду. Потом на троих у чайной — и к тебе.

— Ясно, Костик.

В разговор вмешалась мать:

— Я думаю, напрасно вы это, ребятки, затеяли. Испокон веку ведется на Руси, что свое никому и нигде не докажешь. А грязью — тебя оболъют.

— Неправа ты, мама. Доказать все можно. И мы с Коськой докажем, где — правда, а где — кривда. Не бойся, докажем. Мы с ним свое возьмем!

В дверь постучали. Мать побежала открывать. Вернулась она в сопровождении двух мужчин. Те поздоровались и сказали:

— Кто из вас Чуганков будет?

— Это я, — произнес Петька и встал из-за стола.

— Просим одеться и взять с собой денег. Мы вас отвезем в Мозольск. Там с вами хотят поговорить.

— Никуда не поеду, — отрезал Петька. — Не имеете права.

— Свои права мы лучше тебя знаем. А не поедешь — так завтра с милицией увезут.

Пришлось одеться, взять три рубля и пойти с двумя этими верзилами. На прощанье он сказал матери и Косте:

— Обо всем этом опосля переговорим. Прощайте пока.

И вышел. И уехал на защитном «газике» в Мозольск, по темным улицам сияющих Новых Китов.

9

В Мозольск прибыли через полтора часа. «Газик» остановился у большого серого дома. Свет в нем горел лишь на первом этаже. Двое верзил придерживали Петьку за руки и так провели до самого входа. Там его передали другим верзилам, которые тем же манером проводили его в кабинет с желтыми крашеными стенами. У окна стоял стол, а перед ним два стула. Петька остался посреди кабинета жалкий, беспомощный, весь в неизвестности.

Затем в кабинет вошел человек в белом халате. Он сильно сопел и курил дешевую папиросу. Серое лицо его было сморщено и утомлено.

— А это что такое? — спросил он, схватив Петьку за рубашку.

— Рубашка...

— Правильно, рубашка...

— А считать умеете? — спросил человек, внимательно вглядываясь в Петькино лицо.

— Умею... — с удивлением произнес тот.

— Хорошо, считайте, — раз, два, три...

— Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь...

— Обратном порядке!

— Семь, шесть, пять, четыре...

— Достаточно. Голова болит?

— Болит, когда головная боль, а так — нет.

— А когда бывает головная боль?

— Когда устаю.

— А часто устаете?

— Средне.

— Что значит «средне»?

— Это значит не часто, — зло ответил Петька. Он понял, что перед ним врач-психиатр и разозлился. — Больше отвечать на ваши дурацкие вопросы не намерен!

— А я и не прошу вас отвечать. Можете молчать. А пока, дорогой, придется вам тут остаться...

Петька рванулся к двери, но его схватили верзилы и поволокли в душ. Там он вымылся. А потом ему дали больничную одежду и увели на второй этаж.

Коридор, по которому он шел, имел много дверей. Но они не закрывались, а были открыты. Батареи под окнами были спрятаны в деревянные ящики. Полумрак.

— Вот твоя палата, а вот койка, — сказали ему и указали на железную кровать у окна.

Петька мотнул головой. В палате его было человек четырнадцать. Почти все уже спали. Только двое руга-

лись между собой. В промежутках между матом они выкрикивали попеременно — «сталинский выродок», а после снова в воздухе висел отборный мат.

Петька снял одежду и кинулся на койку. Он уснул. Сны были тяжелыми и тревожными, словно ему навалили на грудь кучу камней, а он не в силах выбраться из-под нее.

Утром его разбудил веснуцатый парень и повел, как он сам выразился, к королю. «Король» находился в самой дальней палате. Она была под номером 1. Петька лежал в восьмой. «Король» оказался здоровым усатым дядькой.

— Он мичман, — шепнул веснуцатый.

— Ты новенький? — спросил «король».

Петька кивнул.

— Мы сейчас примем тебя в наше братство. Но для этого тебе надо пройти испытание.

— А в чем оно заключается?

— Я нанесу тебе три удара вот этим шлепанцем, — и «король» показал на свой шлепанец.

— Я как-то не привык, чтобы меня били, — ответил Петька.

— О, это не больно! — и «король» слегка стукнул его три раза.

— Вот и все, приятель, — засмеялся веснуцатый, — теперь ты в братстве.

Потом их позвали на завтрак. Ели вонючие макароны и селедку. Вилки и ножей не было, — только ложки. Глевого хлеба сколько угодно. Завтрак кончился, и тогда Петьку повели к лечащему врачу. Это был уже не тот, что говорил с ним вчера вечером. Но вопросы повторял он примерно прежние. Петьке пришлось отвечать на них, а после с трудом вспоминать свою родословную. На этом разговор кончился. Врач все запи-

сал и распрощался с ним. Петька вернулся в палату. Через час к нему подошел санитар:

— Велено перейти тебе в первую.

— А что так?

— Тут те, у кого чурка за глазами, а там более нормальные. Доволен должен быть.

Санитар помог перенести постель, похлопал Петьку по плечу и удалился. Теперь соседями Петьки стал «король» и тот веснущатый парень.

10

Дни бежали скучно и долго. Одиночество и однообразие. Вокруг голые желтые стены и дегенеративные лица. Исключение составляет только «король». Он лежит здесь потому, что бросил пить и, чтобы не соблазняться водкой, решил отгородиться от внешнего мира. Его официальный диагноз — паранойя.

Остальные — либо кретины, либо глубоко несчастные люди — эпилептики, наркоманы, истерики. Всего такого народу — четыре десятка. Гуляют они по кругу, в больничном садике, за бетонной стеной. Кое-кто пытается убежать. Тогда делают успокоительный укол — смирительные рубашки отменили — и препровождают в буйную палату, в восьмую.

Вчера к Петьке приезжала мать. Она плакала. Четыре раза навещал Костька. Он добирается в Мозольск на попутных грузовиках. Времени у него много. Он тоже вылетел с работы. Костька не плакал. Он только шмыгал носом, да привез двадцать пачек папирос и четыре книжки: «Мозг и психика», рассказы Акутагавы, «Что делать?» Чернышевского и «Старик и море» Хемингуэя.

Уже пятый день затишье. Никого нет. Петька болтает с «королем», а после обеда спит. Он бы спал все

время, но по распоряжению облздравотдела палаты после завтрака и до обеда на замке. Это, очевидно, нужно для того, чтобы больные еще больше чувствовали себя не в своей тарелке и кидались друг на друга, как звери.

Через два часа после обеда — прогулка. Он гуляет сзади всех и курит.

Внезапно у него подкосились ноги. Он понял — это от бессилия. От бессилия морального, а не физического. Это оттого, что здесь для всех он — только больной. Оттого, что он стал не человеком, а полуживотным. За ним наблюдают, и каждое его действие записывают в особый дневник. На основе этого и определяется, что у него. А у него нет болезни. Но у него нет и телефона, нет и знакомств, нет и всемогущества товарища Кетинова. Он — социально-опасный элемент. Надо было знать тебе, Петька, что стенгазета, а тем более сатирическая — это уже признак болезни. А ты этого не знал. Вот почему ты здесь.

«Сегодня же напишу письмо», — решает он. Но куда ты напишешь? В «Мозольскую правду»? Что ж, пиши!

И он писал. Но письма не выходили из стен больницы. Их перечитывали врачи, а потом делали себе заметки и считали, что болезнь усугубилась. А из дому никто не приезжал. Уже пошла вторая неделя. «Короля» выписали. Теперь Петька остался совсем один.

Одиночество. Одиночество. Одиночество. По ночам снятся кошмары. Это делает свое дело аминазин. И он начинает выплевывать эти синие таблетки. В голове тяжесть. Тело ломит. Просто не хочется жить больше. Просто конец душе. Просто начинается безумие. Хочется лезть на стенку. Но в голове мелькает мысль о победе...

И вот приезжает Костька. Он, оказывается, устроился работать в совхоз и поэтому долго не приезжал. Он считает, что Петька правильно решил написать в

газету. Только не в «Мозольку» надо, а в «Комсомолку» или в «Советскую Россию».

— Ты напиши, а через неделю отдашь. Я к тебе в следующее воскресенье приеду. Идет, парень?

— Спасибо тебе, Костька, ты настоящий друг, — отвечает Петька и плачет.

Костька и сам плачет, но говорит:

— Ерунда все это, Петь. Ты парень хороший. Только плакать не надо...

А сам плачет...

11

И снова одиночество. А в ожидании дни идут еще дольше, чем до того. Петька пишет различные варианты. Потом оставляет один, а в ночь с субботы на воскресенье неожиданно для себя пишет стихотворение. И, наконец-то, послеобеденное время. Через два часа прогулка. Значит он увидит Костьку. Но его нет. У стены стоит мать. Они разговаривают через щелку:

— Сынок... У меня работы много было. Замаялась. А Костик к тебе не смог приехать. Штурмовщина у них сегодня. Воскресник, что ли, какой. Но ты письмецо мне передай.

— Ладно, ма, — говорит Петька. — А я в этой яме стих написал. Хочешь, прочту?

— Читай, сынок, — покорно соглашается мама. — Я в них все равно-то ничего не смыслю.

И Петька читает. Стихотворение называется «Сумасшедший дом».

Я живой!

Вы слышите, — живой!

Этот дом рассудок ищет мой.

Этот дом — великий и немой.

Я живой!

Вы слышите, — живой!

Я не бред.
Вы слышите, — не бред!
Все решает злобный кабинет.
Все решает много-много лет.
Я не бред.
Вы слышите, — не бред!

Я пытаюсь выйти на простор.
Я борюсь.
Вы слышите, — борюсь!
Я рассудок потерять боюсь.

Я больной...
Не верьте, — не больной!
В это верит враг и недруг мой.
Тот начальник — старый и седой
С обезьянней, глупой головой.
Я живой.
Вы слышите, — живой!

Этот дом — застенок жуткий мой —
Не сменить на новый, на другой...
Но живой я!
Слышите, — ж и в о й !

Пусть вокруг безумцев дикий вой,
Пусть начальник верный и лихой
Входит в желто-злобный кабинет
И выписывает волчий мне билет.

О начальник! О насильник мой!
Ты узнаешь — я живой, живой!

— Вот такой стих, мама, — произнес Петька.
— Сыночек, — сказала она и заплакала.

А потом она ушла и унесла с собою Петькино письмо. Оно было опущено в синий ящик у автобусной остановки.

Как было обещано, Костя Храпов приехал через неделю. Он сразу же выразил свое восхищение Петькиным стихотворением и посоветовал ему писать побольше стоящих стихов.

— Пушкин у меня в печенках сидит, а вот Чуганков нравится, — смеясь, похвалил он.

— Ну, брось ты. Я совершенно случайно настроил. Так получилось, что под настроение подпало.

— Молодец, парень, — искренне восхищаясь другом, продолжал Костька, — только одна неточность есть.

— Что за неточность!

— Стих про Кетинова? Про него. Это уж точно. Так почему же он седой?

— Ничего, еще будет седым, — прошептал Петька сквозь стиснутые зубы.

— Ну, ладно, — засмеялся Костька, — будет, так будет. Мы ему в этом поможем. Поможем, Петь? Должны помочь? Оторвем ему голову!..

— И еще как!

И они засмеялись. Петька смеялся тут в первый раз.

12

Петька Чуганков вернулся домой через месяц. Он появился так же неожиданно, как и исчез. Встречные испуганно смотрели на него и первыми здоровались. Он отвечал им и шел, гордо подняв голову. Когда проходил по улице Передовиков, то навстречу ему выползла грязно-бежевая «Победа». За рулем сидел сам Михаил Петрович Кетинов.

— Эй ты, феодал, — закричал ему Петька. — Как жизнь?!

Кетинов посмотрел в его сторону, но куда-то мимо, на стены двухэтажных деревянных домов.

Мать Петьки устроила шикарный ужин. Костька Храпов принес поллитровку. Они сидели за полночь и долго говорили о житье-бытье, о том, что свое доказать можно и нужно, и что они свое еще докажут.

— После драки кулаками не машут, — вставила мать.

— А драки-то еще не было, — ответил Костька и обнял друга.

Через некоторое время Петька устроился на работу в совхоз и работал с Костькой в одной бригаде. К нему снова стали приходить ребята, и они сидели подолгу и за полночь, как тогда в первый день его возвращения — он сам, мама и Костька.

А Кетинова вскоре перевели на другую работу. Это произошло так тихо, что никто не знал куда. Многие поговаривали о том, что его сделали преподавателем истории в Мозольске. Но в этом могли и ошибиться. «Один за всех, все за одного», — любил поговаривать Михаил Петрович. Если поговорка не подвела, то ему сейчас хорошо. Может и «Волга» есть. Пусть хоть сто, пусть хоть миллион «волг»! Лишь бы он детей ничему не учил. Не будет от этого проку! Ой, не будет!

Москва, июль 1966

СОДЕРЖАНИЕ

ОГРЫЗКОМ КАРАНДАША. Первая книга стихов

По совести	9
Прометей	10
Стольпинские вагоны	11
И за этой каменной стеной...	12
Поезд мчится и мчится...	13
Рыбы молчат в аквариуме...	14
Не надо ругать меня, ладно?..	15
Стихи в одиночестве	16
Небо потемнело, словно омут...	18
От стены пять шагов до стены...	19
Стихи о товарищах	20
Стихи в дороге	21
Институт Сербского	22
Нет ни утра, ни солнца, ни света...	23
Мне душу, как костер потухший...	24
Тяжко, зло и устало...	25
Снова скована льдом вода...	26
Я не стремлюсь кого-либо ославить...	27
И снова наступает утро...	28
Ночь темна, сродни кофейной гуще...	29
Поэтов редко награждают...	30

Прощайте руки всех разлук!..	31
Оживет пусть душа!..	32
Абхазский дом	33
Листья несутся, мечутся...	34
Собирайте стихи по строке...	35
Я учусь еще в первом классе...	36
Люди, высшею страстью любви облученные...	37
Деревья стоят, как и прежде...	38
Друзьям неправды не прощал...	40
Зима лежит под елками...	41
Нет, погибших уже не ждут...	42
Отцы и дети	43
Стихи сквозь зубы	44
Разгоряченный, счастливый поэт...	45
Оттуда	46
Давит стен кирпичных теснота...	47
Вьюга вышьет узор на стекле...	48
Стихи для памяти	49
Я про печаль, я только про печаль...	50
Слова не трать, сладкозвучный поэт...	51
Скоморох	52
Надо быть честным...	53
История о юном короле	54
Мельница	56
Мне скучно совсем не бывает...	57
Даты	58
Л. К.	59
Маляр хотел постичь талант художника...	60
Не про любовь...	61

ДЕКАБРИСТЫ. Поэма

Рылеев	65
Пестель	65
Бестужев	66
Муравьев	67
Каховский	67
13 декабря	68
14 декабря	69
13 июля	70
Каторжане	71
Монолог жандарма	72
Авторское	73

Песня под стук ладоней 75

Птица-Феникс 77

ФЕОДАЛ. Короткая повесть 79